

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ
**СНИМОК,
КОТОРЫЙ
ОПОЗДАЛ**



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1884

Надежда Чародейская

Снимок, который опоздал

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Снимок, который опоздал / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, сентябрь 1884 года. Фотограф Вересов разбирает пасхальную карточку лиговских торговцев — и в заднем ряду, среди куличей и барашков из масла, видит человека, которого в январе своими руками опускали в могилу на Волковом. Купец Сытиков, мучной торговец, умер от тифа, гроб был закрыт, заколочен, а теперь он стоит живой и улыбается в объектив. Город шепчет про воскресшего покойника, а Вересов, который не верит ни в чудеса, ни в призраков, видит другое: гроб, который вечером был лёгким, а утром стал тяжёлым, мешки с мукой в сарае, где гроб стоял, и сапоги сорок второго размера у каморки, где прячется сторож Федот с отрубленным мизинцем. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижа о том, что свет, случается, и воскрешает — только воскресать надо вовремя, — и о фотографе, который проявляет не только негативы, но и правду.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Покойник на пасхальной карточке	8
Глава вторая. Когда снимали?	16
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Надежда Чародейская

Снимок, который опоздал

Пролог

Хоронили Федота Парфёныча Сытикова в январе, в самый крещенский мороз, когда на Лиговке дым из труб стоит столбом, а извозчики, не стеснясь, крестятся на каждую церковь, мимо которой проезжают — не столько от благочестия, сколько от холода. На Лиговке январь — это не просто месяц, а состояние. Снег там не белый, а серый от мучной пыли и сажи, а ветер дует с Обводного так, что даже собаки прячутся в подворотни. Сытиков, человек, который всю жизнь торговал мукой, знал этот ветер как никто: он знал, когда ветер принесёт подорожание, а когда — удешевление, и когда надо закупать, а когда — продавать. И в ноябре, когда он прогорел на фьючерсах, ветер этот, кажется, и принёс ему первую весть о том, что мука подешевеет, а обещания — подорожают, и что банк, который давал ему деньги под обещания, теперь потребует деньги настоящие.

Январь на Лиговке — это вообще отдельная статья. Ветер с Обводного, с Невы, с Волкова, со всех сторон сразу, будто город нарочно продувают, чтобы выморозить из него всё лишнее. Лавки закрываются рано, приказчики греют руки над жаровнями, а бабы, что торгуют пирогами у ворот, кутаются в три платка и всё равно мёрзнут. Хоронить в такой мороз — дело особое: земля мёрзлая, как камень, ломы ломаются, а могильщики матерятся так, что даже вороны улетают. И всё-таки хоронят, потому что смерть, она, знаете, мороза не спрашивает, ей что январь, что июль — всё одно, лишь бы человек готов был.

Сытиков был купец второй гильдии, мучной, с Лиговки, человек кряжистый, бородатый, с вечной мучной пылью в усах и с отрубленной по первую фалангу мизинцем на левой руке — память о молодости, когда сунул руку куда не следовало, в шестерни мельницы, и с тех пор, когда считал деньги, мизинец этот складывал отдельно, будто боялся обсчитаться. Мизинец этот, отрубленный, был для Сытикова не просто приметой, а подписью. Он им и деньги считал, и мешки метил, и даже, когда подписывал бумаги, мизинец этот складывал отдельно, будто боялся, что и подпись обсчитается. И когда Вересов увидел на пасхальной карточке руку с обрубок, он сразу понял: это Сытиков, потому что только у Сытикова мизинец был отрублен по первую фалангу, и только Сытиков мог так держать руку, будто боится обсчитаться, даже когда просто держится за край стола, на котором стоит кулич с розой и барашек из масла. Знали его на Лиговке все, от мальчишек, что бегали за мукой, до городских, что стояли на углу.

Знали как человека крутого, но справедливого: ежели обещал — сделает, ежели должен — отдаст, а ежели обманет — то уж так, что сам потом не рад. Мучное дело своё он знал до последней пылинки: мог на глаз определить, сколько в мешке пудов, сколько в пуде фунтов, и сколько в фунте — обману. И за эту точность его и уважали, и боялись, потому что точность, она, знаете, как и свет, — ежели её много, то она и правду высвечивает, а правда, она, как известно, не всем по нраву. Хоронили его, впрочем, не как мучного, а как человека, умершего от «горячки», — так сказал доктор Иван Карлович Штрот, немец с Лиговки, у которого в приёмной пахло карболкой и чужими тайнами. Штрот, человек маленький, лысый, в пенсне на шнурке, осматривал покойника недолго, в спальне, при закрытых шторах, и всё кивал и повторял одно: «Тиф, сыпной, нельзя открывать, заразный, боже мой, какой заразный».

И оттого гроб, стоявший в гостиной Сытиковых, был закрыт и заколочен накрепко, а крышка его, обитая белым глазетом, блестела на свечах, как свежий сугроб. В гостиной пахло ладаном, ельником и тем особенным, тяжёлым запахом, какой бывает в купеческих домах, когда в них случается смерть: смесью воска, пирогов, которые всё равно пекут, потому что

«людям надо есть», и водки, которую пьют, не чокаясь. Марья Ивановна, вдова, женщина дородная, практичная, с лицом, привыкшим считать, а не плакать, стояла у гроба в чёрном платке и плакала так громко и так ровно, как плачут женщины, которые знают, что плакать надо, и знают, сколько. Рядом, в углу, жался сын Николай Федотович, двадцати семи лет, с помятым лицом человека, который накануне проиграл больше, чем имел, и теперь не знал, куда девать руки: то совал их в карманы, то вынимал, то опять совал. Дочь Настенька, девица девятнадцати лет, невеста, стояла у печки и смотрела в пол, и по тому, как дрожали у неё плечи, видно было, что она-то плачет по-настоящему.

А у самого гроба, распорядясь, как хозяин, хотя хозяин лежал в гробу, стоял Прохор Лукич Смирнов, старший приказчик, человек сорока шести лет, с бородой лопатой и с глазами, которые всегда глядели чуть мимо собеседника, будто прикидывали, сколько тот стоит. Смирнов был при Сытиковых двадцать лет, знал все их мучные дела, все их долги и все их заначки, и теперь, когда хозяин умер, держался так, будто умер не хозяин, а всего лишь приказчик, а хозяин — вот он, остался, в лице его, Смирнова. — Заколачивайте, — сказал он плотникам, и голос у него был такой, каким говорят не на похоронах, а на складе, когда велят заколачивать ящики. — Да покрепче, чтобы, значит, духу не было. Плотники, мужики с Обводного, переглянулись, но заколотили.

Гвозди вошли в крышку легко, будто в тесто, и от этого звука Марья Ивановна зарыдала ещё громче, а Николай отвёл глаза. Священник, отец Василий, с Лиговской церкви, человек старый, с бородой, как веник, прочитал молитву, покачал кадилом и всё косился на закрытый гроб с тем выражением, с каким священники косятся на вещи, в которых не уверены. Потом, когда стали поднимать, он, по обычаю, подошёл проститься и положил руку на крышку, и рука его дрогнула: гроб был лёгкий, до странности лёгкий для такого кряжистого человека, как Сытиков. — Что-то лёгок он у вас, — шепнул он Смирнову. Отец Василий, человек, который за тридцать лет службы на Лиговке похоронил, кажется, половину Лиговки, знал толк в гробах: по весу гроба он мог сказать, кто в нём лежит — купец или мещанин, старый или молодой, толстый или худой.

И когда он сказал «лёгок», то сказал это не из любопытства, а из опыта, из того опыта, какой бывает только у священников и у могильщиков, которые знают, сколько весит человек, когда из него уходит душа, и сколько — когда из него уходит совесть. — Так ведь высох, батюшка, — отвечал Смирнов, не моргнув. — Горячка-то, она, знаете, человека сушит. Три дня в жару лежал, весь, можно сказать, выкипел. Отец Василий перекрестился и отошёл.

А гроб понесли. Несли его сын Николай, приказчик Смирнов, два молодца из лавки и дворник Ефим, старик с Волкова, который хоронил на своём веку столько, что уже не считал покойников, а считал только водку, которую нальют после. Нести было легко. Слишком легко. — Лёгок барин стал, — пробурчал Ефим, когда выносили на мороз.

— Прежде, помню, как мешок с мукой был, а теперь — как мешок из-под муки. — Не болтай, — оборвал его Смирнов. — Неси. На улице мороз хватал за лицо, как злая собака. Лошади, запряжённые в дроги, фыркали, и пар от них стоял столбом.

Гроб поставили на дроги, вдова села в сани, сын — в другие, и похоронная процессия, маленькая, купеческая, без оркестра, потянулась по Лиговке к Волкову, мимо мучных лавок, мимо вывесок, которые Сытиков сам когда-то красил. У ворот кладбища сторож, такой же Ефим, только другой, спросил, как водится, билет, и Смирнов сунул ему бумагу от Штрома, где было написано по-немецки и по-русски: «*Febris typhosa, contagiosus*», и сторож, не читая, кивнул и пропустил. Могилу рыли с утра, и земля, мёрзлая, не поддавалась, и могильщики, матерясь, долбили её ломami, и пар от их ртов мешался с паром от их же водки. Когда гроб стали опускать, верёвки скрипнули, и Марья Ивановна, не выдержав, вскрикнула и повалилась на руки Настеньке. Николай, бледный, смотрел, как гроб качается на верёвках, и всё трогал карман, где лежала расписка от кредитора.

А Смирнов стоял прямо, борода его была в инее, и он, когда гроб коснулся дна, первым бросил горсть земли, и горсть эта стукнула о крышку так глухо, будто крышка была пустая. — Ну, вот и всё, Федот Парфёныч, — сказал он негромко, так, чтобы слышал только гроб. — Отмучился. И сам же, взяв лопату, стал закидывать. К вечеру, когда все разъехались и на могиле остался один холмик с крестом, на котором было написано «Федот Парфёныч Сытиков, 1826—1884, от любящей семьи», — к кладбищенской сторожке подошёл Ефим, тот, что нёс, и долго смотрел на свежий холмик, и чесал в затылке.

— Лёгкок, — сказал он сторожу. — Вот те крест, лёгкок. Я тридцать лет ношу, а такого лёгкого барина не носил. Будто не барин там, а мешок. Сторож махнул рукой:

— А ты бы на его месте полежал три дня в горячке, тоже бы лёгкок стал.

Ефим покачал головой, но ничего не ответил. А ночью, когда мороз ещё крепче взял, ему приснился Сытиков — живой, в мучной пыли, с отрубленным мизинцем, и будто бы говорит: «Ты, Ефим, не смотри, что я лёгкок. Я ещё тяжёлый буду. Я ещё вернусь». Ефим, человек, который за тридцать лет на Волковом похоронил, кажется, половину Петербурга, и который знал, что покойники, они, как и живые, — ежели их хорошо похоронить, то и лежат спокойно, а ежели плохо, то и встают, и ходят, и ищут свои кресты, — Ефим этот, проснувшись, перекрестился, выпил стаканчик и забыл сон, как забывают сны, которые не хочешь помнить.

А сон, между тем, был вещий, потому что Сытиков, хоть и лёгкий, а всё-таки вернулся, и вернулся не во сне, а на карточке, на пасхальной, где стоял в заднем ряду и улыбался, как человек, который знает, что его уже похоронили, а он всё ещё жив, и не знает, что с этим делать. Ефим проснулся, перекрестился и выпил стаканчик, чтобы сон забыть. И забыл. А Сытиков, между тем, не вернулся. По крайней мере, до весны.

Глава первая. Покойник на пасхальной карточке

Сентябрь в тот год пришёл в Петербург рано и сразу с дождями, с мокрыми листьями на Загородном и с тем особенным, осенним светом, от которого в ателье у Вересова всё кажется чуть печальнее, чем есть. Вересов, впрочем, осени любил. Говорил, что осенью свет честный: не льстит, как летом, и не врёт, как зимой при лампах, а показывает человека таким, какой он есть — с морщинами, с мешками под глазами и с тем, что у него внутри. Макар, слуга, на это ворчал, что свет, может, и честный, а вот заказчики осенью — самые тяжёлые: сниматься не хотят, говорят, «лицо, барин, от дождя опухло», а платить хотят меньше.

В то утро в ателье было тихо. На Загородном моросил дождь, в приёмной пахло сырой шерстью от шинелей, которые Макар сушил у печки, и проявителем, который Вересов с утра разводил для новой партии пластин. За окном, внизу, гроыхали пролётки, и редкие прохожие, подняв воротники, спешили мимо, не глядя на вывеску «Фотография С. И. Вересова».

Вересов сидел в тёмной комнате, при красном фонаре, и проявлял вчерашний заказ — семейство какого-то чиновника с Литейного, снявшееся в полном составе, с бабушкой, с детьми и с попугаем, который, как нарочно, в момент съёмки чихнул и вышел на карточке смазанным пятном. Вересов, впрочем, попугая вытянул: проявил так, что пятно стало похоже на хохолок, и заказчик, глядишь, останется доволен. Он любил такие мелочи — вытянуть из негатива то, что другие бы выбросили. Макар возился в приёмной, натирал сукно на аппарате и всё приговаривал, что «нынче, барин, опять без дела сидим, а ведь осень — пора, когда люди женятся, а женятся — снимаются». Вересов не отвечал: он знал, что Макар ворчит не от злости, а от скуки, и что скука эта пройдёт, как только в дверь кто-нибудь войдёт.

И кто-нибудь вошёл. Вошла, как всегда без стука и как всегда с газетой, Лиза Каптелева — дочь переплётчика из соседней лавки, девица бойкая, круглолицая, с двумя косицами, вечно выбивавшимися из-под платка, и с тем непобедимым любопытством, какое бывает только у людей, выросших за прилавком, где всякая новость — товар. — Сергей Ильич! — закричала она с порога, размахивая газетой так, что с неё полетели капли дождя. — Вы только послушайте, что пишут!

Покойник воскрес! Макар, уронив тряпку, перекрестился. — Тыфу ты, Лизавета, — сказал Вересов, не поднимая головы от ванночки. — У меня тут попугай только что воскрес, а ты уже с покойником. Нельзя ли потише?

У меня пластина. — Да какой попугай! — Лиза подскочила к тёмной комнате и сунула газету прямо под красный фонарь, так что буквы на ней стали кровавыми. — Вот, читайте! «Загадка Лиговки!»

Купец Сытиков, похороненный в январе, вышел на пасхальной карточке живым!»

Вересов, поморщившись оттого, что Лиза засветила ему проявитель, вынул пластину, опустил её в фиксаж и только тогда взял газету. Газета была «Петербургский листок», вчерашний, с размытыми от дождя буквами, и на третьей странице, среди объявлений о «продаётся рояль» и «потерялась собачка», была заметка, обведённая Лизиным карандашом, синим, жирным. Заметка называлась «Живой покойник с Лиговки» и была написана тем особенным, газетным языком, от которого у Вересова всегда сводило скулы. «Почтенная публика! — писала газета.

— Невероятный случай! В январе сего года купец 2-й гильдии Федот Парфёныч Сытиков, известный мучной торговец с Лиговки, был похоронен на Волковом кладбище при большом стечении народа, в закрытом гробу, от тифозной горячки. Гроб, по словам очевидцев, своими руками опускали в могилу сын и приказчик покойного. И вот, в апреле, на пасхальном завтраке, устроенном лиговскими торговцами в складчину, фотографом Фельдманом была снята

групповая карточка, на которой, к ужасу и изумлению, в заднем ряду стоит — живой Федот Парфёныч! Стоит, улыбается, в том же сюртуке, в каком его, по словам вдовы, и хоронили!

Карточка сия ныне продаётся в ателье Фельдмана на Лиговке, и всякий желающий может убедиться собственными глазами: покойник воскрес!»

Вересов прочёл заметку раз, другой, третий, потом отложил газету и посмотрел на Лизу. — Ну? — спросила Лиза, блестя глазами. — Что скажете? Воскрес?

— Воскресают, Лизавета, только в Евангелии, — сказал Вересов, откидывая прядь назад тем самым привычным жестом, от которого Макар звал его «барином с гребнем». — А на Лиговке — либо не хоронили, либо не снимали. Третьего не дано. Свет, он ведь, как и смерть, — вещь точная. Ежели на карточке человек вышел, значит, стоял он перед аппаратом.

А ежели его в январе хоронили — значит, в апреле он перед аппаратом стоять не должен. Стало быть, кто-то тут напутал: либо могильщики, либо фотограф. И чую я, что напутали могильщики. — А вы бы глянули карточку? — спросила Лиза, уже зная ответ.

— Гляну, — сказал Вересов. — Макар, шубу. — Опять на ночь глядя? — проворчал Макар, подавая шубу. — Только давеча говорили, что осень честная, а сами — на ночь глядя, по дождю, за покойником.

— Не за покойником, Макар, — сказал Вересов, натягивая шубу. — За светом. Покойник, он, знаешь, сам по себе не ходит. Его либо носят, либо снимают. А вот свет — он, случается, и воскрешает.

Только воскрешать надобно вовремя. И, взяв газету, вышел на Загородный, где дождь уже кончился, и на мокрой мостовой, отражаясь, расплывались фонари — по два огня в каждом, как на той, первой карточке, с которой всё и началось в прошлом деле. Ателье Фельдмана на Лиговке было не чета ателье Лемке на Литейном. Ателье Фельдмана, с его дешёвым лаком, с его быстрыми аппаратами, с его карточками лиговских торговцев, которые глядели в объектив с тем выражением, с каким глядят люди, которые заплатили три рубля и хотят, чтобы за три рубля их сняли «как господ», — ателье это знал Вересов давно, ещё с тех пор, когда сам начинал на Лиговке, и уже тогда заметил, что в ателье этом, как и в любом другом, — главное не аппарат, а человек, который за аппаратом стоит, и что ежели человек за аппаратом — вор, то и карточка выходит воровская, а ежели честный, то и карточка — честная, с отрубленным мизинцем и с мучной пылью в бороде. Если у Лемке пахло стариной и пыльными амурами, то у Фельдмана пахло новой краской, дешёвым лаком и тем особенным, бойким духом, какой бывает в заведениях, где снимают много, быстро и недорого.

На стенах, в рамках попроще, висели карточки лиговских торговцев, их жён, их детей и их приказчиков, и все они глядели в объектив с тем выражением, с каким глядят люди, которые заплатили три рубля и хотят, чтобы за три рубля их сняли «как господ». Фельдман, человек молодой, с бородкой клинышком и с быстрыми, бегающими глазами, встретил Вересова с той почтительностью, с какой молодые фотографы встречают старых, когда хотят у них чему-нибудь научиться, и с той настороженностью, с какой торговцы встречают сыщиков. — Господин Вересов! — воскликнул он, увидев гостя. — Сам Сергей Ильич!

Сыщик с фонарём! Наслышан, наслышан! Вы про нашего покойника? — Про вашего, — сказал Вересов, снимая шляпу и оглядываясь. — Покажите карточку.

Ту самую, пасхальную. Фельдман засуетился, полез в ящик, вынул плоский конверт, из конверта — карточку, большую, кабинетного размера, на плотном картоне с тиснением «Фельдман и Ко, Лиговка, д. 73». Вересов взял её, подошёл к лампе и стал смотреть. Карточка была снята на улице, во дворе мучного склада, — это видно было по мешкам с мукой, сложенным у стены, и по новой вывеске, ещё яркой, не закопчённой: «Мука Сытикова и К°, с 1884».

За столом, длинным, покрытым клеёнкой, сидели и стояли лиговские торговцы, человек двадцать, в сюртуках, с бородами, с кружками в руках, а на столе, среди кружек, стоял кулич с бумажной розой и пасхальный барашек из масла. Всё, как на пасхальном завтраке. А в заднем

ряду, у самой стены, чуть в стороне от всех, стоял человек — кряжистый, бородатый, в тёмном сюртуке, с цепочкой поперёк жилета, и улыбался в объектив той самой, чуть кривоватой улыбкой, какой улыбаются люди, которые не умеют улыбаться, но очень стараются. И у человека этого на левой руке, которой он держался за край стола, не хватало фаланги на мизинце. Вересов смотрел долго, потом вынул лупу, ту самую, большую, в роговой оправе, которую носил в кармане жилета, и стал разглядывать лицо, руки, тень.

Тень от человека падала на мешки с мукой плотно, чёрно, без прозрачности. Сюртук был не сквозной, а плотный, с пуговицами. Цепочка блестела. Улыбка была живая, чуть смущённая, как у человека, который попал в кадр случайно и теперь не знает, куда девать глаза. — Ну-с, что скажете?

— не выдержал Фельдман. — Монтаж? Я, честно говоря, сам испугался, когда печатал. Думал, может, пластина старая, след какой...

— Не монтаж, — сказал Вересов, не отрываясь от лупы. — И не след.

Человек живой, стоял перед аппаратом, в апреле, во дворе вашего склада. Вопрос только — когда именно в апреле. — Как когда? — удивился Фельдман. — На Пасху!

Девятого апреля! У нас же завтрак пасхальный был, мы каждый год...

— Девятого, — повторил Вересов и указал лупой на карточку, на дальний угол, где, на краю стола, лежала газета, сложенная вчетверо, и на ней, если приглядеться, можно было прочесть заголовок: «Новое время, 9 апреля 1884». — Вот вам и дата. Газета от девятого апреля, кулич с розой, барашек. Пасха в этом году была восьмого.

Значит, завтрак — девятого. Всё сходится. Он отложил лупу и посмотрел на Фельдмана. — А теперь скажите мне, Яков Ильич, — сказал он, — вы Сытикова при жизни знали? — Знал, а как же!

— Фельдман кивнул. — Федот Парфёныч у нас тут первый человек был, мучной король. Я его сколько раз снимал, для лавки, для паспорта. У него ещё мизинец...

— Отрубленный, — подсказал Вересов. — Да, да, отрубленный!

— обрадовался Фельдман. — И на карточке, гляньте, тоже отрубленный! Я сразу и не заметил, а потом, как в газете написали, — глянул, а там и вправду...

— А в январе, когда его хоронили, вы были на похоронах? — Был, — Фельдман потупился. — Мы все были.

Гроб закрытый был, говорили, тиф, заразный. Сына его, Николая, жалко было, плакал... А приказчик Смирнов — тот, наоборот, распоряжался, как хозяин. Вересов кивнул, бережно убрал карточку в конверт и заплатил за неё, не торгуясь, три рубля, хотя Фельдман просил два. — А скажите-ка, — спросил он уже в дверях, — в тот день, девятого апреля, когда снимали, вы всех по местам расставляли? Никого постороннего не было?

Фельдман задумался. — Да вроде всех расставлял, — сказал он. — А потом, уже когда аппарат наводил, гляжу — стоит в заднем ряду ещё один, в тёмном сюртуке, улыбается. Я думал, кто-то из торговцев, опоздал. Крикнул ему: «Эй, бородач, замри!» — он и замер.

Я и щёлкнул. А после, когда печатал, — гляжу, а это ж Сытиков! Я аж проявитель пролил. — Замри, — повторил Вересов и усмехнулся. — Хорошее слово.

Человек, который четыре месяца как в могиле, — и вдруг «замри». Светопись, Яков Ильич, она ведь, случается, и воскрешает. Только воскресать, брат, надобно вовремя. А ваш покойник, чую, воскрес не вовремя. И, поправив шляпу, вышел на Лиговку, где дождь опять начинал моросить, и на мокрой вывеске «Мука Сытикова и К°, с 1884» блестели капли, как свежий лак на негативе.

— Макар, — сказал он извозчику, который ждал его у ворот, — поезжай на Волково. Только сперва — на Загородный, за лопатой. Чую, нам с тобой нынче придётся могилы ворошить. А это, брат, дело такое, что без лопаты не делается. И пролётка, скрипнув, тронулась по

Лиговке, мимо мучных лавок, мимо церкви, где отпевали Сытикова, мимо дома, где вдова его, Марья Ивановна, считала деньги и, может быть, уже не плакала.

Вересов, который за двадцать лет научился по запаху коллодия определять, сколько времени осталось до проявления, а по запаху ладана — сколько времени осталось до похорон, знал, что январь, он, как и проявитель, — ежели его передержать, то и снимок выходит чёрный, а ежели недодержать, то и белый, а ежели вовремя, то и выходит то, что надо. И когда он смотрел на гроб Сытикова, закрытый, заколоченный, с глазетом, он сразу понял: передержали. Гроб, как и негатив, — ежели его передержать в темноте, то и человек в нём не выходит, а выходит мешок с мукой, с бродягой из Обуховской, с распиской доктора Штрома за триста рублей. И оттого гроб и стал лёгким, а потом тяжёлым, а потом опять лёгким, когда его опустили в могилу, и когда Ефим сказал «лёгок», он сказал правду, потому что в гробу не было человека, а была мука, а мука, она, знаете, лёгкая, пока её не намочишь, а как намочишь — тяжёлая, как грех. Лиза, которая, как всегда, ворвалась без стука и с газетой, — Лиза эта, хоть и бойкая, а всё-таки девица, которая за свою короткую жизнь прочитала, кажется, все газеты Петербурга, и которая знала, что покойники, они, как и живые, — ежели их хорошо похоронить, то и лежат спокойно, а ежели плохо, то и встают, и ходят, и ищут свои кресты, — Лиза эта, когда закричала «Покойник воскрес!», то закричала так, что Макар, слуга, уронил тряпку и перекрестился, а Вересов, который проявлял попугая, только поморщился и сказал: «Тише ты, Лизавета, у меня тут попугай только что воскрес, а ты уже с покойником».

Вересов, который за двадцать лет научился по лицам людей определять, когда они врут, а когда — нет, знал, что Лиговка, она, как и фотография, — ежели её хорошо проявить, то и правда на ней выходит, а ежели плохо, то и не выходит. И когда он шёл по Лиговке, мимо мучных лавок, мимо бань, мимо церкви, где отпевали Сытикова, мимо дома, где вдова его, Марья Ивановна, считала деньги и, может быть, уже не плакала, — он думал о том, что Лиговка, она, как и всякая улица, — ежели на ней долго жить, то и сам станешь как улица, с вывесками, с лавками, с банями, с церковью, с домом, где вдова считает деньги, и с амбаром, где покойник живёт, как сторож, в каморке, с топором, с махоркой, с отрубленным мизинцем. И ещё думал о том, что мучное дело, оно, как и фотографическое, — ежели его хорошо вести, то и мука выходит белая, а ежели плохо, то и с комками, с отрубями, с обманом, и что Сытиков, который двадцать лет торговал мукой, а потом прогорел на фьючерсах, на Калашниковской бирже, где торгуют не мукой, а обещаниями муки, — Сытиков этот, хоть и дурак, что в могилу полез понарошку, а всё-таки человек, который сам себя похоронил, а потом сам себя и выкопал, и который теперь не знает, куда ему деваться, — то ли обратно в могилу, то ли обратно в лавку, то ли в Сибирь, за мошенничество со страховкой, с смягчением, потому что сам признался, и деньги вернул, и долги отдал, и семью сохранил. А ещё думал о том, что снимок, который опоздал, — он, знаете, тоже снимок, только на нём человек выходит не тогда, когда надо, а тогда, когда уже не надо, и оттого и выходит таким, какой он есть, без ретуши, с отрубленным мизинцем и мучной пылью на усах, и что светопись, она, случается, и воскрешает, только воскресать, брат, надобно вовремя, а не тогда, когда тебя уже похоронили, а ты всё ещё жив, и не знаешь, куда тебе деваться, — то ли обратно в могилу, то ли обратно в лавку, то ли в Сибирь. И когда он дошёл до ателье Фельдмана, где уже ждал его Фельдман, молодой, с бородкой клинышком и с быстрыми, бегающими глазами, и где уже стояли два аппарата на треногах, один — для группы, другой — для лица Смирнова, когда он увидит, что барин его воскрес, уже настоящему, при всех, — Вересов, кажется, впервые понял, что фотография, она, как и жизнь, — ежели её вовремя не снять, то и не выйдет, а ежели снять вовремя, то и выйдет то, что надо, с приметным мизинцем и следами муки в бороде.

Николай Федотович, сын, который за двадцать семь лет жизни научился только одному — проигрывать в карты, — теперь, когда он увидел отца, живого, в тулупе, с отрубленным мизинцем, — теперь он, кажется, впервые понял, что отец, он, как и снимок, — ежели его

вовремя не проявить, то он сам проявится, и тогда уже не до карт, а до могилы, и что ежели отец воскрес, то и опять в лавку идти, а в лавке — долги, семь тысяч под пятьдесят процентов, которые он должен Смирнову, и которые, ежели их вовремя не отдать, то и сам в могилу полезешь, уже по-настоящему, без шуток, без страховки, без бродяги из Обуховской. Вересов, который за двадцать лет научился по лицам людей определять, когда они врут, а когда — нет, знал, что снимок, который опоздал, — он, знаете, тоже снимок, только на нём человек выходит не тогда, когда надо, а тогда, когда уже не надо, и оттого и выходит таким, какой он есть, без ретуши, с отрубленной фалангой мизинца и мучной пылью на сюртуке. И что светопись, она, случается, и воскрешает, только воскресать, брат, надобно вовремя, а не тогда, когда тебя уже похоронили, а ты всё ещё жив, и не знаешь, куда тебе деваться. Пузырёв, который за двадцать лет службы на Загородном видел, кажется, всех покойников Петербурга, и живых, и мёртвых, и тех, которые ни живые, ни мёртвые, а так, снимки, которые опоздали, — Пузырёв этот, когда слушал Вересова про воскресшего Сытикова, только головой качал и говорил: «Опять вы, Сергей Ильич, со своими покойниками, которые воскресают, а нам, полиции, что делать? Нам, знаете, покойники нужны мёртвые, а не живые».

Макар, который за двадцать лет при Вересове научился по шагам определять, кто идёт — заказчик или кредитор, а по запаху — кто в амбаре живёт, человек или мышь, — теперь, когда он потушил огонь и стоял, мокрый, с ведром, у чёрного пятна, — теперь он, кажется, впервые понял, что живой покойник, он, как и снимок, который опоздал, — ежели его вовремя не проявить, то он сам проявится, и тогда уже не до улыбок, а до могилы. Вересов, который за двадцать лет научился по лицам людей определять, когда они врут, а когда — нет, знал, что снимок, который опоздал, — он, знаете, тоже снимок, только на нём человек выходит не тогда, когда надо, а тогда, когда уже не надо, и оттого и выходит таким, какой он есть, без ретуши, с залысиной, бородой в муке и отрубленным мизинцем, и что светопись, она, случается, и воскрешает, только воскресать, брат, надобно вовремя. Вересов, который за двадцать лет научился по звуку гвоздей, входящих в крышку гроба, определять, кто заколачивает — плотник или приказчик, — в тот день, когда хоронили Сытикова, стоял у ворот Волкова и смотрел, как гроб, лёгкий, как мешок из-под муки, опускают в могилу, и думал о том, что гроб, как и негатив, — ежели он лёгкий, то в нём чего-то нет, а ежели тяжёлый, то в нём чего-то лишнее, и что в гробу Сытикова нет человека, а есть мука и бродяга из Обуховской, который от мороза помер, без роду, без племени, и которого никто не хватится, даже сторож Ефим, который тридцать лет носит гробы и который знает, сколько весит человек, когда из него уходит душа. Марья Ивановна, которая стояла у могилы в чёрном платке и плакала так громко и так ровно, как плачут женщины, которые знают, что плакать надо, и знают, сколько, — Марья Ивановна эта, когда бросила горсть земли на крышку гроба, бросила её так, будто бросает не землю, а муку, и горсть эта стукнула о крышку так глухо, будто крышка была пустая, и от этого звука даже отец Василий, священник, который тридцать лет хоронил на Лиговке, вздрогнул и посмотрел на Смирнова, который стоял рядом и смотрел на гроб так, как смотрят приказчики на ящик, который заколотили, и который теперь надо отправить, и который, ежели его отправить, то и сам станешь хозяином. А Смирнов, который стоял у могилы в бороде лопатой и с глазами, которые всегда глядели чуть мимо, — Смирнов этот, когда бросил горсть земли, бросил её так, будто бросает не землю, а счёт, и горсть эта стукнула о крышку так, будто счёт сошёлся, и от этого звука даже Николай, сын, который стоял рядом и трогал карман, где лежала расписка от кредитора, вздрогнул и посмотрел на Смирнова так, как смотрят должники на кредиторов, когда те говорят: «Пора платить».

Январь на Лиговке — это время, когда даже извозчики, которые привыкли ко всему, крестятся на каждую церковь, потому что мороз такой, что и лошади, и люди, и даже камни, кажется, мёрзнут. Сытиков, который всю жизнь торговал мукой, знал этот мороз как никто: он знал, когда мороз принесёт подорожание муки, а когда — удешевление, и когда надо закупать,

а когда — продавать. И в ноябре, когда он прогорел на фьючерсах, мороз этот, кажется, и принёс ему первую весть о том, что мука подешевеет, а обещания — подорожают, и что банк, который давал ему деньги под обещания, теперь потребует деньги настоящие, с процентами, с пеней, с угрозами, и что ежели денег нет, то и в тюрьму, и что ежели в тюрьму не хочется, то и в могилу, понарошку, с бродягой из Обуховской, с мешками с мукой, с распиской доктора Штрома за триста рублей. Сторож Ефим, который нёс гроб Сытикова в январе, — Ефим этот, человек, который за тридцать лет на Волковом похоронил, кажется, половину Петербурга, — Ефим этот, когда нёс гроб, лёгкий, как мешок из-под муки, — Ефим этот, хоть и ворчал, а всё-таки нёс, потому что ему за это платили, и потому что ему, как и всем могильщикам, всё равно, кого нести — купца или бродягу, лишь бы платили, и лишь бы водку наливали после, и лишь бы не заставляли копать в мороз, когда земля мёрзлая, как камень, и когда ломы ломаются, и когда могильщики матерятся так, что даже вороны улетаются, и когда даже священник, отец Василий, который тридцать лет хоронил на Лиговке, вздрагивает, когда гроб лёгкий, потому что знает: лёгкий гроб — это не просто гроб, а улика. Марья Ивановна, которая стояла у могилы в чёрном платке и плакала так громко и так ровно, как плачут женщины, которые знают, что плакать надо, и знают, сколько, — Марья Ивановна эта, когда бросила горсть земли на крышку гроба, бросила её так, будто бросает не землю, а муку, и горсть эта стукнула о крышку так глухо, будто крышка была пустая, и от этого звука даже Николай, сын, который стоял рядом и трогал карман, где лежала расписка от кредитора, вздрогнул и посмотрел на Смирнова, который стоял рядом и смотрел на гроб так, как смотрят приказчики на ящик, который заколотили, и который теперь надо отправить.

Январь — это время, когда в Петербурге все подводят итоги, а Сытиков подводил итоги своей жизни, которая, как оказалось, закончилась не в январе, а в апреле, на пасхальной карточке, где он стоял в заднем ряду и улыбался. В конторе пахло чернилами, мукой и страхом, а за окном, на Лиговке, дым из труб стоял столбом, и извозчики крестились на каждую церковь.

Вересов знает, что человек — как пластина: тронь раньше времени — всё смажется.

Январь в тот год выдался на Лиговке злой, с ветром, который, казалось, дул не с Невы, а прямо из подворотен, где ночевали извозчики. Церковь, в которой отпевали Сытикова, была маленькая, с потрескавшейся штукатуркой, и пахло в ней не ладаном, а сыростью и мучной пылью, которую приносили на сапогах прихожане. Гроб стоял посреди, закрытый, обитый дешёвым глазетом, и на крышке его, у самого изголовья, кто-то уже успел процарапать гвоздём крест — кривой, торопливый, будто ставили его не для молитвы, а для отчёта.

Отец Василий, священник лиговский, читал скоро, сбиваясь, и всё поглядывал на Марью Ивановну, которая стояла в первом ряду, в чёрном платке, и плакала громко, с подвыванием, как плачут на похоронах, когда надо, чтобы слышала вся улица. Рядом с ней стоял Смирнов, приказчик, в новом сюртуке, с лицом, на котором, как на плохо проявленной пластине, одновременно проступали и скорбь, и облегчение. Он держал в руках крышку от гроба, будто боялся, что её откроют.

Сторож Ефим, которого потом будет допрашивать Вересов, уже тогда заметил странное: гроб, когда его вносили в церковь вечером, несли легко, вчетвером, будто несли пустой ящик из-под муки, а когда выносили утром, к могиле, — несли тяжело, вшестером, и доски скрипели. «Досыпали, — решил он тогда, — для весу досыпали». И ещё заметил: от гроба пахло не покойником, а рогожей и свежей стружкой, как от нового амбара.

Вересов в январе на похоронах не был — он тогда снимал в Павловске детей генерала, — но потом, когда Лиза принесла карточку, он первым делом пошёл именно к этой церкви и спросил отца Василия, почему гроб не открывали. «Тиф, — сказал священник, — доктор Штром бумагу дал, заразный, нельзя». И бумага эта, с подписью Штрома, с печатью, с латинскими словами, лежала потом у Вересова на столе, рядом с карточкой, и он сравнивал две бумаги — одну, которая хоронила, и другую, которая воскрешала.

Вересов, когда Лиза принесла ему карточку Фельдмана, сначала не поверил своим глазам: на пасхальной карточке, где лиговские торговцы сидели за столом, в заднем ряду стоял Сытиков, живой, с той же залысиной, с той же бородой, с тем же мизинцем, отрубленным ещё в молодости, когда он, по пьяни, рубил мясо и отрубил себе фалангу. «Это монтаж, — сказал Макар, который тоже смотрел карточку, — это, барин, двойная экспозиция, как в прошлый раз». Но Вересов покачал головой: «Нет, Макар, это не монтаж, это — человек, который стоял перед аппаратом, и стоял он в апреле, а не в январе».

Доказательство — в деталях, а детали Вересов любил больше, чем людей. Он взял лупу и стал смотреть: на столе — кулич с бумажной розой, а такие розы в Лиговке начали делать только в восемьдесят четвёртом, до того были восковые; на стене — новая вывеска «Мука Сытикова и Ко, с 1884», а вывеску эту, по управе, повесили пятнадцатого марта; в руках у купца Кузьмичёва — газета «Новое время» от девятого апреля, с заголовком про заем, который в январе ещё не объявляли; тени от людей — короткие, полуденные, апрельские, а не длинные, январские, когда солнце низко.

Фельдман, когда Вересов пришёл к нему, сначала сказал: «Я снимал группу, выдержка две секунды, все стояли, никто не шевелился», а потом, когда Вересов показал ему на Сытикова, сказал: «А я думал, родственник из Москвы, он всё шутил, что на поминках не был, а теперь на празднике». И ещё сказал, что Сытиков просил снять его отдельно, для семейного альбома, и карточка эта, отдельная, лежала у него в столе, под прессом, и на ней Сытиков был уже без улыбки, а с лицом человека, который боится, что его узнают, и что его снова похоронят.

Вересов, слушая Фельдмана, думал о том, что снимок, который опоздал, — это снимок, который опоздал к похоронам, но успел к Пасхе, и что человек, который опоздал к собственной смерти, — это человек, который решил умереть понарошку, а потом чуть не умер по-настоящему.

Лиза, когда принесла карточку, сказала: «Сергей Ильич, вы только посмотрите, это же Сытиков, которого в январе хоронили, а он — живой, на карточке, в заднем ряду, с отрубленным мизинцем». И Вересов посмотрел, и сразу понял, что карточка — не монтаж, не двойная экспозиция, а живой человек, который стоял перед аппаратом, и стоял он в апреле, а не в январе, и что снимок, который опоздал, — это снимок, который опоздал к похоронам, но успел к Пасхе.

Он пошёл к Фельдману, фотографу с Лиговки, молодому, с бородкой клинышком, который снимал пасхальный завтрак, и спросил: «Когда снимали?» Фельдман сказал: «Девятого апреля, в полдень, при дневном свете, выдержка две секунды, все стояли, никто не шевелился». И показал книгу записей, где было написано: «9 апреля 1884, Лиговка, групповой снимок торговцев, 15 человек, плата — 10 руб.». И рядом — подпись Сытикова, с той же залысиной, с той же бородой, с тем же мизинцем, отрубленным.

Вересов, слушая Фельдмана, думал о том, что датировка снимка — это тоже детектив, только фотографический, и что газета «Новое время» от девятого апреля, и кулич с розой, и вывеска «с 1884», и тени короткие, апрельские, — всё это улики времени, которые говорят, что снимок — апрельский, а похороны — январские, и что человек, который на снимке — живой, а в гробу — не он, а бродяга из Обуховской, с мешками муки, для весу.

Дома, в ателье, Вересов разложил карточку на столе, под лампой, и стал смотреть её, как смотрят карту местности, где предстоит искать клад, и думал о том, что снимок, который опоздал, — это история про человека, который решил умереть понарошку, а потом чуть не умер по-настоящему, и что ежели человека хоронят два раза, то и снимать его надо два раза, один раз — в гробу, другой — в амбаре.

Январские похороны Сытикова Вересов потом восстанавливал по рассказам, по бумагам, по запаху мучной пыли, который, казалось, въелся в стены церкви, и по тому, как отец Василий, священник, всё отводил глаза, когда говорил про закрытый гроб. «Тиф, — говорил он, —

заразный, нельзя открывать, доктор Штром бумагу дал». И бумага эта, с подписью, с печатью, с латинскими словами, которые Штром писал с ошибками, лежала потом у Вересова на столе, рядом с карточкой Фельдмана, и он сравнивал две бумаги — одну, которая хоронила, и другую, которая воскрешала, и думал о том, что обе бумаги — липовые, только одна — про смерть, а другая — про жизнь, и что обе — улики, только одна — тёмная, а другая — светлая.

Макар, когда Вересов рассказал ему про похороны, сказал: «Барин, а ведь это, как в прошлый раз, когда вы покойника искали, а нашли живого, только теперь — наоборот, когда вы живого искали, а нашли покойника, который живой, и который — в амбаре, и который — с отрубленным мизинцем, и который — с залысиной, и который — с улыбкой, от которой у вас шрам чешется». И Вересов сказал: «Нет, Макар, в прошлый раз мы искали того, кто стареет на портрете, а теперь — того, кто воскрес на карточке, и оба раза — это не призрак, а человек, который решил обмануть смерть, а смерть, она, как и светопись, не любит, когда её обманывают».

Глава вторая. Когда снимали?

Волково кладбище в сентябре — место не весёлое даже для кладбища. Дождь, раскисшие дорожки, кресты, покосившиеся от времени, и вороны, которые сидят на крестах, как чиновники на заседаниях, — неподвижно и с видом, что всё это их не касается.

В сентябре на Волковом пахнет не только сырой землёй, но и тем особенным, кладбищенским запахом, какой бывает только там, где много хоронят и мало помнят: смесью прелых листьев, дешёвой водки, которую пьют могильщики, и ладана, который остался от последнего отпевания. Ефим, сторож, который тридцать лет носил гробы и который знал, сколько весит человек, когда из него уходит душа, — Ефим этот, когда увидел Вересова с лопатой, завёрнутой в рогожу, сразу понял: опять к Сытикову, опять воскрес, опять лёгок, опять тяжёл, опять мука, опять бродяга из Обуховской. В сентябре на Волковом особенно тоскливо: листья уже опали, дорожки раскисли, а могилы, те, что победнее, и вовсе провалились, будто земля их обратно взяла, не дожидаясь Страшного суда. Сторожа, Ефимы и не Ефимы, сидят в сторожках, пьют чай с водкой и рассказывают друг другу про покойников, которые, будто бы, по ночам встают и ходят по дорожкам, ищут свои кресты. Вересов, который на кладбища ходить не любил, но ходил часто, знал, что на кладбище, как и в фотографии, — главное не то, что сверху, а то, что внутри, под землёй, и что ежели хорошо поискать, то и там можно найти то, чего не должно быть.

Вересов, впрочем, на кладбища ходить не любил, но ходил часто, потому что, как он говорил, «на кладбище, Макар, всегда узнаёшь про человека больше, чем в его гостиной». Макар, который нёс за барином лопату, завёрнутую в рогожу, ворчал, что «про человека, барин, и в гостиной узнать можно, не обязательно для этого в грязь лезть», но лопату нёс исправно. Сторож Ефим, тот самый, что нёс гроб Сытикова в январе и потом видел сон, встретил их у ворот, в тулупе, с фонарём, хотя было ещё светло, и сразу узнал. — А, господа фотографы, — сказал он, шурясь. — Опять к Сытикову?

Что, опять воскрес? — Воскрес, Ефим, воскрес, — сказал Вересов, подавая ему двугривенный. — Да только не весь. Покажи-ка нам его могилу, да Расскажи, как хоронили. Ты, помнится, говорил, лёгок был барин?

Ефим взял двугривенный, спрятал его в тулуп и повёл их по дорожке, мимо могил, мимо кустов, к свежему, уже осевшему холмику с деревянным крестом. — Тут он, — сказал Ефим, указывая на холмик. — Федот Парфёныч. С января лежит. А лёгок был, это верно.

Я тридцать лет ношу, а такого лёгкого не носил. Будто не барин, а мешок из-под муки. Я ещё тогда Смирнову, приказчику, говорю: «Что-то лёгок барин», а он мне: «Высыхает, говорит, от горячки». А я думаю, от горячки-то человек, может, и высыхает, да не до такой же лёгкости, чтобы его один дворник мог нести. Вересов присел на корточки у могилы, потрогал землю, уже заросшую редкой травой, и посмотрел на крест.

— А гроб, — спросил он, — закрытый был? — Закрытый, — кивнул Ефим. — И заколоченный. Гвоздями. Я ещё удивился: покойников-то у нас обычно в открытых хоронят, чтобы, значит, проститься, а тут — закрытый, и крышка глазетом обита.

Доктор, говорят, не велел открывать, тиф, заразный. — А кто заколачивал? — Плотники с Обводного, — сказал Ефим. — А потом Смирнов сам ещё молотком постучал, для крепости. Я видел: ночью, накануне выноса, он у сарая возился, где гроб стоял.

Я мимо шёл, гляжу — свет в сарае, а Смирнов там один, с молотком. Я думал, может, крышку поправляет. А наутро гроб уже тяжёлый стал. — Тяжёлый? — переспросил Вересов.

Вересов, который за двадцать лет фотографического ремесла научился по весу пластины определять, сколько на ней серебра, а по весу гроба — сколько в нём правды, знал, что гроб, как и негатив, — ежели он лёгкий, то в нём чего-то нет, а ежели тяжёлый, то в нём чего-то

лишнее. И когда Ефим сказал «тяжёлый», Вересов сразу понял: лишнее — это мука, а нет — человека. И оттого, что в гробу не было человека, а была мука, гроб и стал тяжёлым, а человек — лёгким, и ушёл в амбар, в каморку, где и жил, как мышь, четыре месяца, пока его не снял Фельдман на пасхальной карточке. — Ага, — кивнул Ефим. — Вечером лёгкий был, а утром, когда выносили, — тяжёлый.

Я ещё подумал: вот ведь, за ночь барин потяжелел, может, душа вернулась. Вересов переглянулся с Макаром. Макар, который до того молчал, только головой покачал. — Душа, Ефим, — сказал Вересов, вставая и отряхивая колени, — она, брат, веса не имеет. А вот мешки с мукой — имеют.

Ты не помнишь, у сарая, где гроб стоял, мешков не было? — Мешков? — Ефим задумался. — Мешки были. Мучные.

Сытиковские. Смирнов их всё таскал туда-сюда, говорил, чтобы, значит, не отсырели. — Ну, вот видишь, — сказал Вересов. — Стало быть, барин твой не высох, а потяжелел от муки. Это, брат, тоже бывает, когда человека хоронят не того.

Ефим перекрестился. Ефим, человек, который за тридцать лет на Волковом похоронил, кажется, половину Петербурга, и который знал, что покойники, они, как и живые, — ежели их хорошо похоронить, то и лежат спокойно, а ежели плохо, то и встают, и ходят, и ищут свои кресты, — Ефим этот, когда Вересов дал ему двугривенный и пошёл к воротам, долго смотрел ему вслед и думал о том, что барин-то, хоть и лёгкий, а всё-таки тяжёлый, потому что ежели человека хоронят не того, то и земля его не принимает, и он потом ходит, ищет свою могилу, и находит её на карточке, на пасхальной, где стоит в заднем ряду и улыбается. — Вы это, барин, не того... Не раскапывать ли будете? — спросил он шёпотом. — Раскапывать, Ефим, — сказал Вересов, — это дело полиции.

А мы пока только смотрим. Ты вот что скажи: кто в ту ночь у гроба оставался? — Никто, — сказал Ефим. — Гроб в сарае стоял, а сарай Смирнов на замок запер и ключ себе взял. Сказал, чтобы, значит, зараза не вышла.

Вересов кивнул, дал Ефиму ещё двугривенный и пошёл обратно, к воротам, где ждал извозчик. — Макар, — сказал он по дороге, — запомни: гроб вечером лёгкий, утром тяжёлый, а в сарае — мешки с мукой и Смирнов с молотком. Это, брат, не похороны, а бухгалтерия. Одного списали, другого приписали. Макар, который нёс лопату, вздохнул: — Дык, барин, я и без бухгалтерии вижу: нечисто тут.

Покойник-то, он, конечно, воскрес, да только, чую, не сам. Вересов не ответил. Он думал о другом — о карточке, которую оставил в ателье, и о том, как доказать, что карточка эта снята именно девятого апреля, а не раньше. Доказать это было нужно, и нужно было крепко, потому что ежели карточка снята до января, то и воскресения никакого нет, а есть просто старый снимок, который Фельдман по ошибке выдал за новый. А ежели после — то и вправду покойник воскрес, и дело тут не в свете, а в людях.

Вернувшись на Загородный, Вересов первым делом разложил карточку на столе, под большой лупой, и стал её разглядывать снова, но уже не как фотограф, а как сыщик, который ищет в снимке не лицо, а время. Время на снимке, как известно, оставляют не часы, а мелочи. Тени, газеты, вывески, куличи. Газета «Новое время» от девятого апреля была первой уликой. Вересов, человек, который читал газеты с конца, знал, что «Новое время» выходит ежедневно, и что номер от девятого апреля не мог лежать на столе в январе.

Стало быть, снимок — апрельский. Вторая улика — кулич с бумажной розой. Такие куличи, с розой из папиросной бумаги, пекут только на Пасху, и едят их только на пасхальной неделе. В январе их не бывает. Третья улика — вывеска «Мука Сытикова и К°, с 1884».

Вывеска эта, яркая, ещё не закопчённая, была новой. Вересов помнил Лиговку: в ноябре прошлого года, когда он снимал там лавку колониальных товаров, вывески этой не было, была

старая, «Мука Сытикова», без «и К°» и без «с 1884». Стало быть, новую повесили между ноябрём и апрелем. — Лиза! — крикнул он, не отрываясь от лупы.

Лиза, которая сидела в приёмной и болтала с Макаром, вбежала. — Что? — Ты на Лиговке часто бываешь, — сказал Вересов. — Скажи, когда у Сытиковых новую вывеску повесили? Лиза задумалась, наморщив лоб.

— А ведь в марте, — сказала она. — Я помню, мы с отцом мимо шли, а там плотники, и Смирнов, приказчик, распоряжается: «Выше, выше, чтобы, значит, с улицы видно было». Отец ещё сказал: «Ишь, Сытиковы-то, хоть хозяин помер, а вывеску новую вешают». Я ещё удивилась: хозяин помер, а вывеска новая. — В марте, — повторил Вересов и кивнул.

— Стало быть, в январе её не было. А на карточке — есть. Значит, карточка — мартовская или апрельская, но никак не январская. Он отложил лупу и посмотрел на Лизу. — А теперь ступай в управу, — сказал он, — и узнай, когда Сытиковы разрешение на новую вывеску получали.

В управе, знаешь, всё записывают: когда, кто, какую вывеску, какого размера. Узнай, и чтобы бумажка была, с печатью. Лиза кивнула и убежала, а Вересов остался сидеть над карточкой и думать. Думал он о том, что время на снимке — вещь упрямая, и что ежели на снимке есть газета от девятого апреля, то снимок не мог быть снят в январе, как бы того ни хотелось вдове Сытиковой. И ещё думал о том, что покойник, который вышел на карточке в апреле, в январе был уже в могиле, а стало быть, либо в могиле не он, либо на карточке не он, а кто-то очень на него похожий, с отрубленным мизинцем.

Отрубленный мизинец — вот что не давало ему покоя. Такую приметку не подделать. Ежели у человека нет фаланги, то её нет, и на карточке её не нарисуешь, разве что палец подогнуть. А на карточке палец был прямой, с обручком, и тень от него падала на стол. — Макар, — сказал он, — а подай-ка мне негатив Фельдмана.

— Какой негатив? — удивился Макар. — А тот самый, пасхальный. Фельдман, чай, негатив-то не выбросил. Сходи к нему, скажи, что барин просит негатив посмотреть, для науки.

Да не забудь двугривенный, а то Фельдман, он, знаешь, за науку тоже деньги берёт. Макар ушёл, а Вересов остался один, с карточкой, с лупой и с мыслью, что дело это, похоже, будет не о воскресении, а о бухгалтерии, и что бухгалтерия эта, как и всякая бухгалтерия, сходится только тогда, когда в ней есть покойник, которого нет, и деньги, которые есть. Через час Макар вернулся, с негативом, завёрнутым в бумагу, и с Фельдманом, который увязался за ним, любопытный, как все молодые фотографы. — Вот, Сергей Ильич, — сказал Фельдман, вынимая негатив и держа его на свет. — Смотрите.

Я сам не понимаю, как так вышло. Вересов взял негатив, поднёс его к окну и стал смотреть. Негатив был большой, кабинетный, на стекле, и на нём, в перевёрнутом виде, были те же торговцы, тот же стол, тот же кулич, и в заднем ряду — тот же Сытиков, плотный, бородатый, с отрубленным мизинцем. И тень от него на негативе была чёрная, плотная, без прозрачности. — Не монтаж, — сказал Вересов, откладывая негатив.

— И не двойная экспозиция. Человек стоял перед аппаратом, живой, девятого апреля. А в январе его хоронили. Стало быть, хоронили не его. Фельдман побледнел.

— Как не его? — прошептал он. — А кого же? — А вот это, Яков Ильич, — сказал Вересов, — нам с вами и предстоит узнать. Для начала — кто в январе в Обуховской больнице от тифа помирал, из бродяг, без роду, без племени.

Такие, знаете, всегда находятся, когда нужен покойник, которого никто не хватится. Фельдман перекрестился, а Макар, стоявший у двери, только головой покачал. — Дык, барин, — сказал он, — я же говорил: нечисто тут. Покойник-то, он, может, и воскрес, да только, чую, не сам, а с чужой помощью. Смирновской.

Вересов кивнул, бережно завернул негатив в бумагу и отдал его Фельдману. — Берегите, — сказал он. — Это, Яков Ильич, теперь не карточка, а улика. И ежели Смирнов к вам придёт

и будет просить негатив продать или, не дай бог, разбить — не продавайте и не бейте. Скажите, что Вересов, сыщик с фонарём, велел беречь.

Фельдман кивнул, спрятал негатив и ушёл, а Вересов остался сидеть у окна, глядя, как по Загородному, один за другим, зажигаются фонари, и думая о том, что снимок, который опоздал, — это не тот снимок, который напечатали поздно, а тот, на котором человек опоздал к собственной смерти, и теперь не знает, куда ему деваться: то ли обратно в могилу, то ли обратно в лавку. — Макар, — сказал он наконец, — а ступай-ка ты к Пузырёву, Аркадию Дормидонтовичу, и скажи ему, что у нас с тобой опять покойник. Только покойник этот, в отличие от прежних, — живой. И, чую, скоро опять станет мёртвым, ежели мы не поспешим. Макар вздохнул, надел картуз и пошёл к Пузырёву, а Вересов остался один, с карточкой, на которой покойник улыбался, и с мыслью, что улыбка эта — не от радости, а от страха, от того страха, какой бывает у человека, который знает, что его уже похоронили, а он всё ещё жив, и не знает, что с этим делать.

Вересов разложил карточку на столе в ателье, под лампой, и стал смотреть её, как смотрят карту местности, где предстоит искать клад. На карточке — длинный стол, накрытый прямо во дворе мучного склада, на столе — кулич, огромный, с бумажной розой наверху, и барашек из масла, который к Пасхе лепят только в Лиговских лавках, и бутылки, и стаканы, и лица — знакомые, лиговские, все, кого он за пять лет снял по разу, а кого и по два.

В заднем ряду, почти в тени от новой вывески, стоял человек в сюртуке, с бородой, с залысиной, с улыбкой, от которой у Вересова сразу зачесался шрам на скуле — так улыбаются люди, которые знают, что их уже похоронили, а они всё ещё здесь. Мизинец на левой руке — отрублен по вторую фалангу, примета, которую Марья Ивановна сама назвала Вересову, когда он пришёл в дом.

Датировка — любимая игра Вересова. Он взял лупу и стал искать улики времени. Газета «Новое время» в руках у купца Кузьмичёва — номер от девятого апреля, вторник, с заголовком про заем. Кулич с розой — такие розы из бумаги в Лиговке начали делать только к Пасхе восемьдесят четвёртого, до того были из воска. Вывеска над лавкой: «Мука Сытикова и Ко, с 1884 года» — по управе, вывеску эту повесили пятнадцатого марта, после того как Сытиков переписал лавку на жену. Тени от людей — короткие, полуденные, апрельские, а не длинные, январские.

Фельдман, когда Вересов пришёл к нему в ателье на Лиговке, сначала отнекивался: «Групповой снимок, выдержка две секунды, все стояли, никто не шевелился». А потом, когда Вересов показал ему на Сытикова, побледнел и сказал: «А я думал, родственник приехал, из Москвы. Он всё шутил, что на поминках не был, а теперь на празднике». И ещё сказал, что Сытиков просил снять его отдельно, для семейного альбома, — и Фельдман снял, и карточка эта, отдельная, лежала у него в столе, под прессом, и на ней Сытиков был уже без улыбки, а с лицом человека, который боится, что его узнают.

Волково кладбище в сентябре — место тихое, с воронами, которые сидят на крестах, как чиновники на заседаниях, и с могильщиками, которые курят и говорят про то, что земля в январе мёрзлая, а в сентябре — мягкая, и копать её — одно удовольствие. Сторож Ефим, которого Вересов нашёл у ворот, помнил похороны Сытикова хорошо, потому что хоронили в январе, в мороз, и гроб несли тяжело, и могилу копали долго, и поп ругался, что кадило гаснет.

«Гроб, — сказал Ефим, — сперва лёгкий был, когда его в церковь вносили, а потом, ночью, перед выносом, Смирнов с дворником в сарай ходили, что-то таскали, мешки какие-то, и гроб тяжёлый стал. Я думал, для весу, чтобы не пустой был, а то, знаете, пустой гроб — плохая примета, покойник обидится». И ещё сказал, что после похорон Смирнов дал ему полтинник и сказал: «Молчи, Ефим, а то и тебя в этот гроб положим, и тоже тиф напишем».

Вересов, слушая Ефима, думал о том, что гроб, который вечером был лёгким, а утром стал тяжёлым, — это не просто гроб, а улика, и что мешки с мукой, которые Смирнов таскал в

сарай ночью, — это не просто мешки, а улика, и что бродяга из Обуховской, которого положили в гроб, — это не просто бродяга, а улика, и что светопись, которая всё это проявит, — это тоже улика, только светлая.

Он пошёл в Обуховскую больницу, где Штром работал, и нашёл в книге записей: «Неизвестный, бродяга, умер от замерзания, тело не востребовано, выдано приказчику Смирнову для погребения за счёт купца Сытикова». И рядом — подпись Штрома, и печать, и дата — пятнадцатое января, за два дня до похорон Сытикова. И тогда Вересов понял, что Сытиков не умер, а бродяга умер, и что в гробу — не Сытиков, а бродяга, и что мешки с мукой — для весу, чтобы гроб не был пустым, и чтобы сторож не догадался.

Дома, в ателье, Вересов разложил на столе две карточки: одну — январскую, с похоронами, где гроб закрытый, и другую — апрельскую, с Пасхой, где Сытиков живой, и стал сравнивать, и думал о том, что смерть — тоже негатив: проявить её надо уметь, и что человек, который решил умереть понарошку, рискует умереть по-настоящему.

Пузырёв, пристав, когда Вересов пришёл к нему с карточкой и с газетой «Новое время» от девятого апреля, сначала сказал: «Опять вы, Вересов, со своими покойниками», а потом, когда Вересов показал ему вывеску «с 1884» и кулич с бумажной розой, сказал: «Ах, вот оно что! А я думал, купец помер, а оказывается, купец жив, а карточка — улика, а вы — опять с фонарём». И пошёл с Вересовым на Лиговку, к Фельдману, к церкви, к кладбищу, к банку, к дому Сытиковых, и везде — улики, и везде — свет, который, как следовательно, всё освещает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.